
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РОССИЮ...

*К 200-летию со дня рождения А. А. Фета
и 150-летию со дня рождения И. А. Бунина*

Безусловным «украшением» года нынешнего являются две яркие и уже довольно «массивные» юбилейные даты, в общем-то совсем недалеко друг от друга в календаре отстоящие и посвященные выдающимся мастерам русского слова: тончайшему лирику Афанасию Афанасьевичу Фету (Шеншину) и великолепному поэту и изысканному прозаику, первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе*, Ивану Алексеевичу Бунину. Поставь рядом их портреты и, казалось бы, не найти в мире двух, более непохожих, людей. Однако же внешнее различие с избытком компенсируется, в данном случае, творческим «союзничеством», если угодно, ибо на ниве изящной словесности Иван Бунин вполне естественно является прямым продолжателем поэтических традиций русской классической поэзии XIX века и его «учителями» безусловно являются Фет, Майков, Полонский, Алексей Жемчужников, а критики и коллеги в свое время не раз отмечали присутствие в ранних стихах Бунина «школы Фета». Школа школой, но ведь ее влияние никогда не может быть чисто механическим, формальным, оно всегда чем-то обусловлено и оттого логично и органично.

И Афанасий Фет (Шеншин) и Иван Бунин — дети благословенной средней России, мало того, детство и отрочество обоих прошло на Орловщине, таким чудесным образом ставшей родной землей для целой плеяды прекрасных русских писателей. Именно малая родина исподволь, ненавязчиво, но в итоге фундаментально повлияла на формирование личностей будущих литераторов, именно и прежде прочего она дала им возможность почувствовать себя русскими людьми и навсегда остаться таковыми, узнать и полюбить искренне родную природу, научившись видеть прекрасное в казалась бы самом простом и обыденном, и до последнего часа остаться верными родной земле и родной речи, русскому слову. В итоге Афанасий Фет создал неповторимый свой стиль совершенно нестандартных лирических форм, став признанным мастером оригинальной метафоры, служившей зачастую средством для философских выводов автора, а выдающийся, с неповторимым почерком, прозаик, нобелеат Иван Бунин сохранил и развил классический стиль русской поэзии, придав поэтике невероятную точность и весьма изысканный лаконизм. Не зря писал в свое время Максимилиан Волошин, что Бунин находится «в стороне от общего движения в области русского стиха», вместе с тем признавая, что «с точки зрения живописи поэтические картины Бунина достигли «конечных точек совершенства». «...Я все-таки... прежде всего поэт. Поэт! А уж потом только прозаик» — так говорил о себе Иван Бунин.

Щедро одарив обоих поэтов творчески, Господь наградил их и позитивным отношением к жизни, и у Фета и у Бунина в чисто человеческом плане изначально при-

* ...И второму российскому, первым из которых стал Генрих Сенкевич за роман «Камо грядеши?» (Quo vadis? — в оригинале); Сенкевич, как житель Царства Польского, являлся подданным Российской империи.— Прим. ред.

существовал очевидно «жизненный стержень», врожденная стойкость характера. Не зря же говорили о молодом Бунине, что в нем было много «силы жизни, жажды жизни», но ведь сие вполне справедливо и в отношении молодого Фета, иначе последний едва ли справился бы с отлучением от фамилии, дворянства, наследства, существенно осложнившими его существование и причинившими столько душевных страданий. Да ведь и трагическую, нелепую и ужасную, гибель своей возлюбленной, Марии Лазич, надо было как-то пережить, несмотря на то, что перспектива их дальнейших отношений, в связи с неопределенным материальным положением обер-офицера кирасирского полка, выглядела весьма сомнительно.

Но если драматические моменты в жизни А. А. Фета были обстоятельствами его личной жизни, то истинной трагедией для И. А. Бунина, как и для миллионов сограждан, стало крушение Российской империи и потеря Родины в результате вынужденной эмиграции. Мы, как бы не старались, не сможем никогда уже оценить действительный масштаб произошедшей катастрофы и жуть семнадцатого года, когда февральский и октябрьский перевороты, и последовавшая за ними кровопролитная и ожесточенная до крайности гражданская война, те самые «окаянные дни», привели к уничтожению государства Российского, когда трагедия державы и личные человеческие трагедии слились воедино, чтобы продлиться на долгие десятилетия. И жизнь, и творчество И. А. Бунина, покинувшего родную землю, оказались навсегда разделены этой черной чертой на «до» и «после». И в этом смысле его старший брат по перу оказался несравненно более счастлив.

На попрание же поэтическом и Фет, и Бунин до известной степени стояли особняком от своих братьев по перу. В свое время ругать стихи Фета и писать на них пародии было признаком хорошего тона, особенно в среде так называемых революционных демократов, не упускавших возможности к тому же «заклеймить» помещика-крепостника и верноподданного монархиста. Впрочем, и друзей поэта, того же Тургенева, эти качества Фета тоже порядком раздражали. Что касается более поздних оценок, то советское литературоведение безапелляционно причислило поэта к представителям «чистого искусства», объявив вдобавок последователем французских «парнасцев» и предтечей декадентов. А о том, как последние оценивали поэзию Бунина, я уже упоминал. Но ведь и сам Иван Алексеевич открыто не жаловал тех же символистов, довольно снисходительно отзываясь об их творчестве. В соответствующих официальных кругах СССР Бунина безусловно считали «белогвардейцем», но все-таки признали его литературный талант и достижения.

Так или иначе А. А. Фет и И. А. Бунин в хорошем смысле «одного поля ягоды», их поэтическое творчество уникально, органично сочетаемо, и являет собой наглядную связь и преемственность поколений в русской литературе, а также дает возможность говорить о неразрывности ее творческих традиций, их сохранении и дальнейшем развитии.

«...И много мне чувства и песен, и слез, и мечтаний дано»

«К сему иностранец Афанасий Фет руку приложил» (1). Такую подпись почти сорок лет должен был ставить под документами Афанасий Шеншин, впоследствии, скорее всего в связи с ошибкой наборщика «Отечественных записок», где поэт стал публиковать свои стихотворения и где, в 1842 г., впервые появилась полностью его фамилия, вообще ставший Фетом. Однако же поэт принял эту «поправку» и отныне фамилия немецкого мещанина как бы превратилась в псевдоним русского поэта. Все эти метаморфозы и породили некую «загадку» рождения Афанасия Афанасьевича, на мой взгляд, однозначно разрешающуюся в письмах его матери, Шарлотты Фет, урожденной Брекнер, к своему брату, где прямо указывается на то, что Афанасий все-таки был сыном асессора Фета, а русский помещик Афанасий Неофитович Шеншин

был его приемным отцом. Афанасий Неофитович приехал в Гессен-Дармштадт поправлять здоровье, в начале 1820 г. и остановился как раз в доме супругов Фетов. Очевидно Шарлотта всерьез тяготилась узами брака, несмотря на то, что уже родила первого ребенка — дочь Каролину и была беременна во второй раз. В результате вспыхнувшего между хозяйкой и гостем романа, Афанасий Неофитович увез Шарлотту от мужа в Россию, где вскоре в поместье Новоселки Орловской губернии она и родила мальчика, который был крещен именем отца и определен в православие, будучи записан, возможно, за взятку, сыном неженатого помещика Шеншина. Официальный брак между родителями был оформлен только в 1822 г.

Тем не менее почти через полтора десятка лет, очевидно по чьему-то доносу, губернские духовные власти обнаружили несоответствие в оформлении документов и родители были вынуждены срочнейшим образом хлопотать перед дармштадскими родственниками Елизаветы Петровны (так в крещении стала именоваться Шарлотта) о признании юного Афанасия сыном асессора Фета, к тому времени уже умершего, иначе юноша оказался бы незаконнорожденным. Так русский столбовой дворянин стал иностранным мещанином. В своих прекрасно написанных воспоминаниях «Ранние годы моей жизни» поэт говорит об этом очень сдержанно, дескать, в одном из писем отца, полученных им уже во время учебы в пансионе города Верро (ныне эстонский г. Виру близ Тарту), отец без обиняков и пояснений поставил сына перед фактом — ты теперь не Шеншин, а Фет, так необходимо и все. Думаю, что на самом деле для юного Афанасия с этим письмом мир если не рухнул, то основательно пошатнулся. Современному человеку, возможно, очень трудно понять всю драматичность произошедшего, но в сословном обществе, где принадлежность к своему кругу была изначальным условием положения человека и в обществе и в жизни, подобные перипетии даром едва ли проходили. Итак, будущий поэт потерял дворянство, потерял права наследования, а значит и материальное подспорье будущего существования. Отныне, по большому счету, юному Афанасию Фету приходилось надеяться только на себя.

Наверное, очень трепетное, если угодно, отношение А. А. Фета к сословности и придворным званиям, вызывающее порой язвительное отношение как откровенных недоброжелателей, так и близких друзей и коллег, во многом явилось следствием произошедшего с ним в отрочестве. Тем не менее нельзя сказать, что молодые годы его были наполнены лишениями и существенными тяготами и препонами. Читая воспоминания Фета, невольно проникаешься откровенной симпатией к нему, нравится он прежде всего по-человечески. Ну, в самом деле, вполне успешный, хоть по его же признанию не всегда усердный, студент Московского университета, выпустивший в двадцать лет первый сборник стихотворений, очень добросовестный, в дальнейшем дельный и честный офицер, а после отставки отличный хозяин, преуспевающий помещик и, вместе с тем, тонкий и весьма ранимый лирик, душой ощущавший не просто красоту природы, но сумевший посредством этой красоты, и вызванных ею ассоциаций, создать произведения философской лирики высочайшего уровня. А его «верноподданность», служившая объектом насмешек современников, и отсутствие в лирике гражданских мотивов, причисляемое советским литературоведением к существенным недостаткам творчества, на мой взгляд, настолько естественны для человека его времени и воспитания, что не могут быть предметом глубоких и принципиальных споров. Что можно найти плохого в том, что сначала вернув себе дворянство и фамилию, человек, хоть и на склоне лет, получает достаточно высокий придворный титул камергера, дающий право бывать при дворе, и откровенно этому радуется. Ну, а А. С. Пушкин, пожалованный в камер-юнкеры двора, разве не был этим несказанно доволен? Но в отношении А. А. Фета язвительный Владимир Соловьев, с отцом которого, впоследствии знаменитым историком, Афанасий Афанасьевич познакомился еще в студенчестве, не удержался от довольно обидной и злой эпиграммы:

*Жил-был поэт,
Нам всем знаком.
Под старость лет
Стал дураком.*

Это был, увы, не первый выпад в сторону поэта. Его не раз, по тому же поводу, критиковали друзья, тот же Я. П. Полонский или И. С. Тургенев, упрекавший Афанасия Афанасьевича, что таким образом «...соскользнешь в Каткова... В Булгарина упадешь!» (1). Очевидно дворянское, а тем паче разночинное, фрондирование почиталось в те годы правилом хорошего тона. В связи с этим, для меня все-таки остается загадкой, отчего уже будучи владельцем имения Воробьевка в Курской губернии, помещик Фет завел ослика, которого запрягал в дрожки, для объезда земель и угодий, и назвал этого ослика Некрасов. Советская литературная критика «любила» ссорить поэтов, разводя их «чуть ли не по разные стороны вымышленных баррикад, делая их иногда классовыми врагами». А ведь именно Николаю Алексеевичу принадлежит утверждение «что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет. Из этого не следует, чтобы мы равняли Фета с Пушкиным, но мы положительно утверждаем, что г. Фет, в доступной ему области поэзии, такой же господин, как Пушкин в своей, более обширной и многосторонней области». Так написал Некрасов в «Современнике», в 1856 г., о сборнике стихов Фета (1).

Все-таки, для большинства, первостепенное значение имела не надуманная «реакционность» Фета, а его лирический талант. А то, что поэт, офицер и помещик, и продолжительное время мировой судья, начало своим публикациям имел в одиозном для «прогрессивной общественности» журнале «Московитянин», издававшемся М. П. Погодиным, не может быть ни положительной, ни отрицательной характеристикой, просто Афанасий Афанасьевич, распрощавшись с пансионатом в г. Верро, перед поступлением в университет, находился в частном пансионате известного историка и панслависта, весьма близкого к славянофилам, имя коего служило для революционных демократов символом чуть ли не мракобесия. Кстати, диапазон знакомств и дружеских отношений А. А. Фета в, так сказать, профессиональном кругу был широк и разнообразен. Очень теплая и доверительная дружба с Ф. И. Тютчевым, бывшего для младшего годами Фета предметом откровенного восхищения, весьма откровенное общение с Л. Н. Толстым и Н. А. Некрасовым, и уже упоминавшаяся дружба с Я. П. Полонским и И. С. Тургеневым, не говоря уже об Аполлоне Григорьеве, в чьем доме прошли все студенческие годы Афанасия Афанасьевича. Думается, что его смолоду отличала коммуникабельность и до известной степени терпеливое, если угодно, отношение к людям, хоть некоторым и казался он порой жестким, довольно замкнутым и весьма нетерпимым, с годами в особенности. Но такие впечатления очень часто бывают весьма поверхностными и обманчивыми.

«Он теперь сделался агроном-хозяином до отчаянности — отпустил бороду до чресл — с какими-то волосяными вихрами за и под ушами,— о литературе и слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом»,— сообщал Тургенев в письме Полонскому в 1861 г. (1) Несмотря на дружескую иронию по одной этой тираде можно понять, что поэтическое дарование Фета общепризнано, а его стихи по достоинству оценены как читателями, так и в профессиональной среде. Первая книга поэта «Лирический пантеон», вышедшая еще в 1840 г. под редакцией А. А. Григорьева, хоть и была во многом «подражательной», изобилуя весьма распространенными в то время литературными «среднеромантическим» штампами, все-таки помогла молодому человеку заявить о себе, тем более, что «поэтическое развитие Фета шло стремительно». Нет, не зря Н. В. Гоголь по достоинству оценил ранние стихи его, выразившись

сдержанно, но вполне определенно, сказав М. П. Погодину о «несомненном даровании» автора (1). В последующие годы выхода первого сборника поэт создал уже совершенно самостоятельные произведения, обретая свой стиль и почерк, «позволившие уже с полным правом подписывать их полным своим именем — Афанасий Фет» (1). Хрестоматийными стали, например, строки: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало...». Однако же мало кто, наверное, помнит финал этого стихотворения.

*Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;*

*Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь,— но песня только зреет.*

По сути уже в этих строках, написанных в 1843 г., довольно конкретно определена, несмотря на откровенное признание автора о продолжающемся поиске себя в поэзии, творческая концепция Фета, формула которой «природа — любовь — красота» (1). Лев Озеров дал прекрасное определение его лирике — «психологическая», «основанная на правде чувств». И для поэта «путеводной звездой... станет точность наблюдений, реалистичность воспроизведения духовного мира человека, живущего среди природы и изменяющегося вместе с ней» (1). Вместе с тем несомненным успехом пользовались антологические стихи Фета, где он отдавал предпочтение не «реставрации древности, а утверждению некоего эстетического идеала». Например, его стихотворение «Диана» (1847 г.) восторженно приняли Тургенев, Некрасов, Боткин, Дружинин, Достоевский. «Об этом стихотворении говорилось, что оно «сделало бы честь перу самого Гете». Антологические стихи стали для Фета ступенью в совершенствовании поэтического мастерства и изобразительной манеры, в которой он стремился «передать движение, процесс, переходы состояний, трепет жизни, вибрацию чувств» (1). «Весь бархат мой с живым его миганьем», о чем это? О бабочке, всего лишь, а насколько волшебной! «Так плещет на багряном маке крылом лазурным мотылек», что имеется в виду? Оказывается огонь в камине. А «от весел к берегу кудрявый след бежал»? А «светло — а холодно» — милейшее и очень точное противопоставление света и тепла, точнее отсутствия одного. Это уже совершенно самобытные лирические находки высочайшего уровня. И не стоит, право, огульно называть Фета последователем французских «парнасцев», «уставших» от гражданской лирики Байрона и Гюго, и обратившихся в красоте ради красоты и к искусству для искусства. Афанасия Афанасьевича всегда интересовало взаиморазвитие природы и человека, их, если угодно, единство и борьба. И вполне логично, что с годами лирика поэта обрела и философский характер. «Это... лирика, открыто и смело примыкающая к тому, что делал в русской поэзии Тютчев» (1).

Осмелюсь заявить, что дружба Тютчева и Фета уникальна, но вполне естественна и объяснима. Кстати, оба поэта родились в один день, 5 декабря, но с разницей в 17 лет. Фет был очарован поэзией Тютчева и в 1862 г. послал ему письмо с просьбой прислать портрет.

*Мой обожаемый поэт,
К тебе я с просьбой и с поклоном:
Пришли в письме мне твой портрет,
Что нарисован Аполлоном.*

*Давно мечты твоей полет
Меня увлек волшебной силой,
Давно в груди моей живет
Твое чело, твой облик милый.*

Тютчев конечно же откликнулся на просьбу младшему собрата по перу и ответил также стихами.

*Тебе сердечный мой поклон
И мой, каков ни есть, портрет,
И пусть, сочувственный поэт,
Тебе хоть молча скажет он,
Как дорог был мне твой привет,
Как им в душе я умилен.*

А в следующем послании Федор Иванович словно «устанавливает кровное родство двух русских лириков».

*Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой —
Они им чувт, слышат воды
И в темной глубине земной...
Великой Матерью любимый,
Стократ завидней твой удел —
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел...*

«Такой характеристики Тютчева удостоился один Фет» (1). Но ведь эти строки можно с полным правом отнести и к творчеству Тютчева. Впоследствии поэтов и сближали, и противопоставляли, но сочетание двух этих имен стало привычным, и абсолютно не зря. И абсолютно справедливы слова Александра Блока: «Все торжество гения, не вмещенное Тютчевым, вместил Фет». Не претендуя на тютчевскую масштабность, Фет прикасался к вечным темам, относящимся к человеческому бытию, к постоянному и разнообразному общению и разговору человека с природой. Конечно, творческие воплощения у поэтов различны. Тютчев создает цельное полотно, а Фет «великое множество этюдов», продолжая исследовать тему во множестве вариантов. Но «вслед за Тютчевым, вместе с ним, Фет усвершенствовал и бесконечно разнообразил тончайшее искусство лирической композиции, построения миниатюр. За кажущейся повторяемостью их — разнообразие и многообразие, непрекращающийся лирический контрапункт, вариационность, запечатлевающая сложность духовной жизни человека» (1).

Фет, в итоге, воспринял, тонко и сознательно, тютчевское стихотворное построение и освоил его, несколько не подражая, но наследуя Тютчеву, что определялось общностью русской философской лирики и родством творческих манер (1). Например, в стихотворении «Первый ландыш» очень показателен ассоциативный тематический переход к третьей, завершающей строфе:

*Так дева в первый раз вздыхает —
О чем — неясно ей самой.
И робкий взор благоухает
Избытком жизни молодой.*

В, казалось бы, простых этих строках на самом деле сокрыта целая вселенная, состоящая из надежд, ожиданий, неясных еще возможностей и огромного количества предстоящих жизненных коллизий. И разве о ландыше написано стихотворение? И где же здесь пресловутый «отрыв от реальности», где «искусство для искусства»? В якобы незамысловатости и легкости сокрыта тончайшая пластика фетовского лиризма, что сразу по достоинству и оценил Тютчев. Что касается Фета, то он посвятил поэзии Федора Ивановича очень «проникновенную статью», а также четыре послания в стихах, причем одно было написано уже после ухода Тютчева из жизни. А еще Фет перевел его французское стихотворение, выполнив сей труд совершенно «в духе тютчевской поэзии», сердцем ощутив сущность творчества автора (1).

Второй сборник стихотворений Афанасия Афанасьевича вышел в Москве в 1850 г. и стал, в определенном смысле, если не манифестом, то весьма весомым заявлением о поэтической самостоятельности и своеобразности. В это время Фет был офицером кирасирского Военного ордена полка и служил на юге империи, в Новороссии, однако и там не оказался в творческом вакууме, найдя, в частности, горячее почитание и дружбу местного помещика, поэта-любителя, А. Ф. Бржеского и его супруги.

Александра Львовна Бржеская оставалась близким Фету человеком до конца его жизни, и ей посвящены несколько стихотворений поэта. Военная же служба давала молодому офицеру надежду получить в итоге потомственное дворянство, но право на оное с июня 1845 г. давал чин майора, тогда как Афанасий Афанасьевич был произведен в корнеты более чем через год после выхода высочайшего манифеста. Для выпуска второго сборника Фет дважды приезжал в первопрестольную, так как его друг Аполлон Григорьев, коему были поручены «хлопоты» с типографией, в силу личных своих качеств едва не провалил все дело. Впрочем, Афанасий Афанасьевич все простил старому товарищу и никогда не пенял ему на сей счет.

Именно Аполлон Григорьев, сам впоследствии прекрасный поэт и критик, отметил у молодого Фета «хаотическое брожение души», что и обусловило с самого начала характер всей его лирики, с многообразием не просто красок, но даже малейших эмоциональных оттенков. Обостренная восприимчивость художника, его глубокая впечатлительность, беспокойное сознание, стремившееся, тем не менее, к сосредоточенности в изображении, нашли своим поприщем именно «природу-любовь-красоту». Но вот ритором или оратором Фет не выступал никогда. Вещать и возвещать — не его призвание. А вот сказать, следуя за Достоевским, что «красота спасет мир», он имел полное право. Сама его поэзия и была попыткой такого спасения (1). Эту вот «красоту» ему не раз впоследствии припоминали очень многие, почитая оное понятие чуть ли не ругательным, не очень желательным, по крайней мере. Проповедуемая разночинными горе-революционерами «общественная польза» вела к оголтелой утилитарности сознания, и конечно же на подобной почве очень хорошо прижился, зацвел и дал плоды известный постулат Чернышевского: «Красота есть жизнь, а жизнь есть красота». Но Фет не считал красоту пустым декором, эстетической категорией или чем-то увеселительным. Он трактовал красоту как основу жизни, бытия и человека в отдельности, и общества в целом. Мало того, красота несомненно сопрячена любви. А ведь «Бог есть любовь», не так ли? В таком построении куда больше смысла, глубины и души, нежели в крикливой и лишь внешне эффектной сентенции автора «Что делать».

В статье, посвященной Тютчеву, Афанасий Афанасьевич писал: «Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые ее не сознают, как воздух питает и того, кто, быть может, не подозревает о ее существовании. Но для художника недостаточно бессознательно находиться под влиянием красоты или даже млет в ее лучах. Пока глаз его не видит ее ясных, хотя и тонко звучащих форм, там где мы ее не видим или только смутно ощущаем, — он еще не поэт...» (1). Для Фета красота является сутью мира, ей чужды умильность, нарочитое

украшательство, прилизанность, напускная благостность, искусственная дикость. И ведь для того, чтобы убедиться в правоте поэта вовсе не стоит искать какие-то новые тому подтверждения, их достаточно в самых известных стихотворениях, которые у нас на слуху со школьной скамьи.

*Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.*

*Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,*

*В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..*

Сколько здесь поэтического волшебства, чистых надежд, искренней любви и жизненной силы. Какой восторг сокрыт в этих простых словах, в этой покоряющей душу и сердце безглагольности! А финальные строки вообще имеют несчетное количество оттенков, это воистину эмоциональный калейдоскоп, отнюдь не хаотичный, и не взбалмошный, но безгранично мощный и подкупающе откровенный. «И заря, заря!..» — и не нужно к сему никаких еще эпитетов, все предельно ясно и глубоко, емко, лаконично. Запредельная степень восхищения этой краткой строкой имеет и свою логику, и широчайшую вариативность толкования испытываемых эмоций. Даже написав одно такое стихотворение, автор остался бы навеки в русской поэзии. Не зря Фет посвятил его в 1850 г. своей трагически ушедшей из жизни возлюбленной Марии Лазич. Светлые воспоминания о прошлом вообще характерны для поэта, и они еще навещают его в конце жизни, впечатляюще результативно.

Суждения о творчестве Фета были подчас полярны: одни предлагали из его сочинений сделать оберточную бумагу, другие называли поэта гением. Пародии на приведенную выше миниатюру не написал, наверное, только ленивый, пародисты, от «короля русской рифмы» Дмитрия Минаева до Козьмы Пруткова, старались вовсю. Но были и слова Льва Толстого об этом стихотворении, где, в частности, «каждое выражение — картина». Да разве такого нельзя сказать о многих других произведениях Фета? Поэт постоянно искал новые изобразительные средства в стремлении отражения широчайшего спектра человеческих переживаний и впечатлений. Но его новшества подчас не принимались даже искушенными критиками, не понимавшими взаимосвязи, например, между «любовью и снегом». И «...снега блеск колючий», и «...холм причудливый... изваян полночью...», и «от весел к берегу кудрявый след...», это именно те находки Фета, о которых опять-таки Лев Толстой написал однажды: «Откуда у этого добродушного, толстого офицера... такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов» (1). Вот вам и признание одного классика о другом. И никакими пародиями такое не перечеркнешь. Впрочем, и пародии весьма показательны в определенном смысле.

В 1853 г. Афанасий Афанасьевич в звании поручика перешел в лейб-гвардии Уланский полк, расквартированный под Волховом. Теперь у поэта появилась возможность бывать в Петербурге, где он и познакомился с Н. А. Некрасовым, И. И. Панаевым, И. А. Гончаровым, Л. Н. Толстым, А. В. Дружининым, а также встретился и

со старыми знакомыми — И. С. Тургеневым и критиком В. П. Боткиным, чья сестра, Мария Петровна, стала в 1857 г. женой Фета. В следующем году поэт вышел в отставку гвардейским штабс-ротмистром, однако звание не принесло ему желанного дворянства, ибо к этому времени ценз еще раз повысился. Тургенев, при содействии сотрудников «Современника», подготовил собрание стихотворений Фета, увидевшее свет в 1856 г., однако же автор пришел к выводу о «невозможности находить опору в литературной деятельности» и в 1860 г. приобрел в Мценском уезде Орловской губернии имение Степановку, состоящее из хутора и 200 десятин земли (1).

Поэт оказался на редкость предприимчивым, рачительным и удачливым хозяином, превратившим Степановку в образцовое имение, ведя дела в соответствии с достижениями агрономической науки. Он был избран мировым судьей, писал статьи о сельском хозяйстве, обращался к властям с требованиями защиты интересов помещиков от крестьян и наемных рабочих (1). Конечно же, подобные инициативы вызывали негодование «демократической прессы», представителей которой, очевидно, более удовлетворило бы положение неимущего стихотворца, пребывающего в острой нужде и в «последнем градусе чахотки». Но тогда стремления Фета были связаны с возвращением прав русского дворянина и обеспечением материального благополучия. Вместе с тем, в 1863 г. он выпустил двухтомное собрание сочинений, в ознаменование четверти века своей литературной деятельности. А через десять лет ему было вновь пожалованы дворянство и отцовская фамилия Шеншин, а также все связанные с этим права.

К этому периоду жизни Фета относится и начало многолетней переписки, встреч и дружбы с Л. Н. Толстым. «Ясная Поляна и Степановка — эти названия рядом с датами стоят на многих их письмах друг другу (1). Оба они сознательно ушли в глубь России от городской суеты, от светских нравов, от «чиновных старух», да и от литературной среды тоже. Оба не убоились одиночества, оба нашли в природе нечто большее, нежели материал для описаний. «Природа для Толстого и Фета имела значение нравственное» (1). Она давала, по утверждению Льва Николаевича, «высшее наслаждение жизни». Более всего они были близки в период написания Анны Карениной. Расхождения меж ними несомненно были, они много спорили о христианстве, о духовном пристанище художника, и если поэт находил его в красоте, то прозаик в патриархальном укладе крестьянской жизни. Да и восторги Фета по поводу присоединения к роду Шеншина Толстой встретил с неприкрытой иронией, отметив, что не знает «того Шеншина», а Фета — «знает и любит». Фет в свою очередь негативно отнесся к толстовскому начинанию — роману о декабристах. Но их дружба и сотрудничество несомненно повлияли на творчество обоих, и Толстой даже брался сочинять для Фета стихи. «Сопоставление пейзажно-психологических отрывков Толстого (можно добавить и Тургенева) и 8—12-строчных «повестей» Фета приводит к мысли об изображении диалектики душевных движений и состояний природы как об одной из важных художественных задач эпохи» (1). А лирические ощущения многих толстовских героев вполне могут быть проиллюстрированы стихами Фета, писавшего порой и в совершенно толстовском ключе, в чем нетрудно убедиться, читая стихотворения «Бал»:

*Чего хочу? Иль, может статься,
Бывалой жизнью дыша,
В чужой восторг переселяться
Заране учится душа?*

Или «Псовая охота»:

*Уже давно, осыпавшись с вершин,
Осинников редеем глубь густая*

*Над голкими извивами долин
И ждет рогов да заливного лая.*

И разве от приведенных строк не пролегает прямой путь к столь же детально и образно точному стихотворчеству Бунина? Вот она, та самая «школа Фета»! Так или иначе природа в поэзии Афанасия Афанасьевича имеет божественную сущность, в этом смысле он пантеистичен. И «природа выражает себя в поэте», а единение природного и человеческого являет собой гармонию и красоту. «Ночь и я, мы оба дышим...» — редкое по красоте объединение пейзажа и человека, соответствия мира природы и мира душевного (1). В те годы никто так не говорил. И вдруг лирика Фета являет совершенно потрясающие образы: «тающая скрипка», «овдовевшая лазурь», «травы в рыдании»... Это и есть упомянутая Толстым «лирическая дерзость», «зоркость души», поначалу вызывавшая и недоумение, и даже возмущение критиков.

«Поэт — тот, кто в предмете видит то, что без его помощи другой не увидит», — писал Фет. Но кроме этого качества его лирика глубоко интонирована, наполнена звучанием, мелодична и напевна. На стихи Фета писали музыку Чайковский, Римский-Корсаков, Танеев, Балакирев, Рахманинов, Гречанинов и многие другие композиторы. И такая «озвученность» его произведений, их музыкальность, свидетельство стремления поэта видеть мир через мелодию сердца, когда в интонации тоже угадываются живописные образы. Вообще, в середине века девятнадцатого, увлечение песней и романсом в кругу Фета, Полонского, Григорьева было очень велико. Каждый из упомянутых художников оставил нам прекрасные, известные с детских лет, произведения, такие, как «Цыганская венгерка» и «Мой костер в тумане светит...», и в этом направлении Афанасий Афанасьевич явно лидирует. Ему же принадлежит откровение: «О, если б без слова сказаться душой было можно!». А П. И. Чайковский утверждал, что Фет «в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных в поэзии, и смело делает шаг в нашу область», что Фету «дана власть найти струны нашей души, которые недоступны художникам, хоть бы и сильным, но ограниченными пределами слова», что «некоторые стихотворения Фета я считаю наравне с самым лучшим, что только есть высокого в искусстве».

И наряду со всем сказанным мелодика для Фета находится среди задач поэзии, он не коверкает природу слова в угоду ритмике, мелодичность для поэта не самоцель. Он стремится выразить в слове «и темный бред души, и трав неясный запах», причем выразить, как ни парадоксально, ясно и озарено, прозрачно и откровенно. «Язык душевной непогоды//Был непонятен для меня» — признается поэт. А Тургенев ждет от него стихотворение, последняя строфа коего могла бы передаваться безмолвным шевелением губ (1).

И Фет не обманывает его ожиданий.

*Не я, мой друг, а Божий мир богат,
В пылинке он лелеет жизнь и множит,
И что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может.*

Но зато он может «пересказать» многие и многое другое, и еще как пересказать!

*А там по нивам на просторе
Река раскинулась, как море,
Стального зеркала светлей,
И речка к ней на середину
За льдиной выпускает льдину,
Как будто стаю лебедей.*

В 1877 г. поэт продает Степановку и покупает большое имение Воробьевку в Щигровском уезде Курской губернии. Это деревня на берегу реки Тускари, усадьба с каменным домом и прекрасным парком, хозяйство на 850 десятинах. Всеми делами заведовал управляющий, а хозяин вновь получил возможность заниматься литературой, проводя на «пленере» летние месяцы, а зиму в Москве, на Плющихе, в собственном доме, приобретенном в 1881 г. Последний период жизни, как и ее начало, Афанасий Афанасьевич целиком посвятил творчеству. В эти годы в стихах его очень ярко обозначилась еще одна особенность, вызывавшая у современников самые разные эмоции, от недоумения и удивления до полного восхищения. Для автора, казалось бы, не существовало прошедшего времени, точнее, все прошедшее он передавал точно сию минуту с ним происходящее, он и его конкретное переживание существовали в одном временном промежутке, сию минуту, сейчас. Он не рассказывал некую историю, а писал дневник. «Он исповедовался, а не приводил картину исповеди». «Какие-то носятся звуки // И льнут к моему изголовью, // Полны они томной разлуки, // Дрожат небывалой любовью». «Здесь отчетливо совпадают грамматические и психологические формы» (1). И ведь воспоминания, приведенные в настоящем времени, словно восстанавливают былые чувства во всей их новизне, свежести, перво-зданности! Наиболее ярко это проявилось в стихах о любви, созданных Афанасием Афанасиевичем уже в преклонные годы, т.е. после 1880-го и вплоть до 1892-го.

*Можно ль тужить и не жить,
Нам в обаянии?
Выйдем тихонько бродить
В лунном сиянии!*

Или:

*Я слышу звон твоих речей,
Куда резвиться ни беги ты.
Я вижу детский блеск очей
И заплылавшие ланиты.*

Но не стоит думать, что поэта сопровождают лишь светлые воспоминания о былом. Он не живет ими, он их вновь переживает, это восполняет ему духовные и творческие силы, но, вместе с тем, и вновь очень дорого дается, ибо Фет всегда искренен, он не играет некую роль, а напротив, чужд любой театральности. И оттого признается: «Кровию сердца пишу я к тебе эти строки». А насколько богато и эмоционально контрастно такое признание: «И нежности былой я слышу дуновенье, // И, содрогаюсь, я пою». Симбиоз прошедшего и настоящего, оставшегося в памяти и ныне переживаемого, придает лирике Афанасия Афанасьевича философский характер. Тогда-то и рождаются проникновенные признания: «Хоть не вечен человек, // То, что вечно — человечно». «пора за будущность заране не пугаться, // Пора о счастья учиться вспоминать» (1). И ведь подобные откровения отнюдь не звонкие, ловкие софизмы, не игра слов. Это результат многолетнего творческого пути автора, результат сердечных, душевных переживаний, итог мучительных подчас сомнений и раздумий. Для Фета переживаемое мгновение может длиться и длиться, оно существенно и непреходяще. Именно поэтому он и не теряет способности творить, начиная послание Владимиру Соловьеву словами: «Ты изумляешься, что я еще пою, // Как будто прежняя во храм вступает жрица, // И чем-то молодым овевая песнь мою, // То ласточка мелькнет, то длинная ресница», тут же, словно по пути, рождая и демонстрируя новые ассоциативные поэтические формы, связывая зрительные ощущения с духовными. В иллюстрации ощущений Фет проникает в их суть, а не просто делит их на категории,

формальная классификация для него ничего не значит (1). И все-таки, на мой взгляд, несомненное поэтическое новаторство поэта нисколько не противоречит классической русской поэзии, не опровергает ее, а наоборот, являет собой органичное и очень логичное развитие и расширение таковой. Вот в чем несомненная заслуга А. А. Фета перед русской словесностью и культурой в целом.

В ту пору, когда в журнальных публикациях о Фете не вспоминали с одобрением, когда сам поэт объявил свой творческий путь законченным, Лев Толстой писал ему: «Я от вас все жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, чтобы вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека. Поток ваш все течет, давая тоже известное количество ведер воды-силы, колесо, на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь, но поток все течет, и, ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса». Опять-таки, поздняя лирика Фета примечательна «тютчевским и гетевским расширением образа». Поэт отказывается от метафорических преамбул к финальным обобщениям, сразу начиная говорить о сути, о самом важном. А красота его лирики постепенно становилась русским поэтическим достоянием, и мы сегодня воспринимаем «фетовское лирическое наследие как принадлежащее современной России» (1). Фет, и вновь по выражению Толстого, мыслит «умом сердца», лирически, и мысль в его стихах — итог душевных переживаний. Он одновременно лирически нежен и лирически смел. Фет и его поэзия молоды и сегодня, никакой архаики, никаких поправок на время. Не зря же сам поэт заявлял:

*Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятн отовсюду.*

В трепете жизни и сокрыта сущность лирики Фета, ее высокая человечность. А ведь наряду с этим поэт был прекрасным и весьма результативным переводчиком и стихов, и прозы. Гораций и Овидий, Гейне и Гете, Мицкевич и Шопенгауэр среди авторов, им переведенных. Не оставляет читателя равнодушным и его воспоминания, прежде всего «Ранние годы моей жизни», а также рассказы и статьи о литературе и искусстве. Все эти труды отнюдь не являются «вспомогательными», входя в «корпус сочинений А. А. Фета» наряду с его неповторимой лирикой.

Последние годы жизни поэта были омрачены недугами: его мучила одышка, одолевал хронический блефарит — воспаление век. Приехав в Москву в 1892 г., Афанасий Афанасьевич заболел бронхитом; кризис болезни одолеть удалось, но ослабленный организм оказался не в силах вернуться к жизни. Поэт умер за два дня до своего 72-летия. Есть свидетельства, что перед уходом из жизни Афанасий Афанасьевич пытался покончить с собой...

Лишь упомянув об этом, более не стану муссировать данную тему. Гораздо важнее то, что и в наше время поэзия выдающегося русского лирика также свежа и неожиданна, как и прежде, также будит и формирует самые светлые человеческие чувства и качества и призывает принимать окружающий мир с нежностью и любовью, как и должно человеку. И давайте же читать эти великолепные стихи и помнить, как девиз: «То, что вечно, человечно». Не зря же однажды откровенно признался мэтр советской «тихой лирики» Владимир Николаевич Соколов:

*Вдали от всех парнасов,
От мелочных сует
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет.*

И да будет так со всеми нами!

«Есть святые в сердце звуки,— дай для них язык!»

Так обратился к Господу девятнадцатилетний Иван Бунин, невольно и не дословно, но по сути, вторя А. А. Фету и его строкам: «...И носятся светлые звуки, и льнут к моему изголовью». А ведь откровения подобные не рождаются просто так, из ничего, и юный поэт явно ощущал уже в полной мере не просто желание писать, но и проявляющиеся свои возможности, свой талант, который он так ярко и разнообразно являл миру в течении всей жизни. И совсем не случайно сердце молодого человека наполнялось именно «святыми звуками», а в ранних стихах его явно присутствуют и слышатся откровенно мотивы, характерные более для поэзии А. А. Майкова, уже упомянутого А. А. Фета, Я. П. Полонского, А. М. Жемчужникова, нежели для творчества безусловно почитаемого тогдашней молодежью С. Я. Надсона, на безвременную смерть коего юный Бунин написал свое первое опубликованное в печати стихотворение. Впрочем, к слову сказать, и сам Надсон, провозглашенный в советские годы одним из наиболее характерных представителей модернизма, испытал явное влияние поэзии М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова, а его интерпретация классических традиций вовсе не была столь уж безнадежной и тупиковой, как трактовало это во время оное официальное литературоведение. И в свою очередь избравший стезю изящной словесности Бунин, в поисках собственного пути вполне логично и, думается, осознанно, опирался на творчество поэтов, близких ему по духу, по ощущению жизни и отношению к родной земле, к людям, живущим рядом. И, кстати, некрасовские интонации были ему отнюдь не чужды.

*Они глумятся над тобою,
Они, о, родина, корят
Тебя своею простотою,
Убогим видом черных хат...*

*Так сын спокойный и нахальный
Стыдится матери своей...*

И отнюдь не диссонируют с возрастом автора такие вот заявления: «Обетованному отеческому краю //Я приношу остаток гордых сил» или преждевременные, казалось бы, откровения:

*Но я люблю, кочующие птицы,
Родные степи. Бедные селенья —
Моя отчизна; я вернулся к ней,
Усталый от скитаний одиноких,
И понял красоту в ее печали
И счастье — в печальной красоте.*

Нет, повторяю, не случайно рождались в душе и сердце юного Ивана Бунина подобные признания, и дальнейшее его творчество всегда имело корневую связь с родиной, и никакие политические катаклизмы, никакая эмиграция, не смогли ее разорвать. Так уж был воспитан, таким уж вырос сей истинно русский человек и выдающийся художник слова.

Иван Алексеевич родился 22 октября 1870 г., в Воронеже, в очень родовитой, но порядком обедневшей дворянской семье, берущей начало в XV в. и имевшей герб, включенный в 1797 г. в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи». Очень примечательно, что в обширном роду Буниных литературное дарование было в определенной степени наследственным, хоть и не по прямой линии. Фамиль-

ная генеалогия украшена именами Анны Петровны Буниной, известнейшей поэтессы и переводчицы, нареченной современниками Русской Сапфо, Десятой Музой и Северной Коринной, а также Василия Андреевича Жуковского, который по рождению тоже самый, что ни на есть, Бунин, а свои отчество и фамилию обрел при крещении от восприемника, дабы не числиться «незаконнорожденным сыном дворовой вдовы», как было первоначально записано в церковных документах. К слову сказать, именно с подачи Василия Андреевича в свое время был в итоге определен на учебу в пансионат города Верро отрок Афанасий Фет. Сословный круг, в нашем случае дворянский, в XIX веке был более чем тесен. В одной из черновых записей Анны Ахматовой есть такие строки: «...В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова...». Остается лишь еще раз повторить всем общеизвестное: «Как причудливо тасуется колода!».

С четырех лет Иван Бунин жил с родителями в родовом поместье, на хуторе Бутырки Орловской губернии. По его словам детские его годы были связаны с Пушкиным, стихи великого поэта вслух читали и родители, и братья, а домашним образованием мальчика занимался гувернер — студент Московского университета Николай Ромашков, обучавший своего воспитанника чтению и языкам, включая латынь. Первые книги, прочитанные Буниным самостоятельно — гомеровская «Одиссея» и сборник английской поэзии. В 1881 г. отец определил Ивана на учебу в Елецкую мужскую гимназию, где, по собственному признанию, хуже всего ему давалась математика. Впрочем, гимназию Иван не закончил, поскольку был исключен из нее зимой 1886 г. «за неявку из рождественского отпуска», который он проводил у родителей, перебравшихся к тому времени в поместье Озерки. А своим дальнейшим образованием недоучившийся гимназист был обязан старшему брату, Юлию, сосланному к тому времени под надзор полиции, по месту жительства, говоря современным языком. Старший брат, в будущем очень известный журналист, литератор, не отягощал Ивана точными науками, сделав упор на гуманитарные предметы, и, надо признать, оказался прав в своем педагогическом выборе, и несомненно успешен в системе обучения. Именно к этому периоду жизни Бунина относятся и первые пробы пера, — роман «Увлечение», не принятый ни одной редакцией, а также стихотворения, два из которых, «Над могилой Надсона» и «Деревенский нищий», были опубликованы в февралье и мае 1887 г. в журнале «Родина». «Утро, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду», — признавался Иван Алексеевич впоследствии.

В январе 1889 г. Бунина пригласили на работу в газету «Орловский вестник», издатель Надежда Семенова предложила ему место помощника редактора. Но в газете он появился только осенью, сначала уехав к перебравшемуся в Харьков Юлию, который помог Ивану со службой в земской управе, где молодой человек смог заработать денег на поездку в Крым, в Ялту и Севастополь. В «Орловском вестнике» Бунин познакомился с корректором Варварой Пашенко, но вспыхнувшее взаимное чувство не принесло возлюбленным желанного семейного счастья. Отец Варвары не желал видеть Бунина своим зятем, родители Ивана испытывали очень значительные материальные затруднения и не ладили между собой, сам он также сидел без копейки, а зарабатывать писательским трудом не считал на тот момент возможным. Бунин переехал в Полтаву, опять служил в земской управе, много общался с представителями народнических кружков, с толстовцами, совершал свои «путешествия», но даже приезд к нему Варвары ничего не изменил и в итоге они расстались.

В столь, казалось бы, плачевном положении Бунина, очевидно, спасла именно его «сила жизни, жажда жизни». В 1991 г. в приложении к «Орловскому вестнику» вышел тиражом 1250 экземпляров первый сборник стихотворений молодого поэта, бесплатно рассылавшийся подписчикам газеты. Конечно, в отечественной литературе

того времени это событие «знаковым» не стало да и не могло стать, но, если оценивать «молодую» бунинскую поэзию не формально, то можно с полной уверенностью сказать, что дебютант уже тогда заявил о себе как о несомненном таланте и многообещающем творце, о настоящем художнике слова, знающем и всем сердцем любящим родную землю, родную природу. Лев Толстой, например, воскликнул о его строках «Грибы сошли, но крепко пахнет // В оврагах сыростью грибной». — «Очень хорошо, очень верно!». Этому свидетелем был Максим Горький, в свою очередь отмечавший, что Бунин обладает «огромным чутьем природы» (2). И не только природы, а всего, что так или иначе с ней связано, самой жизни на лоне природы, ибо детализация, приводимая Буниным даже в своих ранних стихах, поистине потрясающая:

*И убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотоным
Гудит-поет в стволы ружья.*

Это ведь не плод фантазии, это результат тончайшей наблюдательности и поэтического чутья. Бунин с младых, что называется, ногтей, зарекомендовал себя как мастер детали, изящно, легко и неожиданно образно говоря о тысячи раз уже сказанном: «Стан струится беспокойно...», а в описании ситуации обыкновением перечислением объектов, предметов, понятий дать внятную, восхитительную картину предстоящих воли и счастья.

*Впереди большак, подвода,
Старый пес у колеса,
Счастье, молодость, свобода,
Солнце, степи, небеса.*

На мой взгляд, поэзия Бунина в итоге оказалась существенно «оттенена» его прозаическими произведениями, совершенно, к стати, незаслуженно. Стихотворения Ивана Алексеевича поражают соединением академической точности, даже строгости, форм и многообразия потрясающей поэтики, откровенной сердечности и неподдельного лиризма. Никакой сухости, статичности, прстой описательности, в них и в помине нет. Именно поэтому ваш покорный слуга в данной статье хотел бы уделить внимание прежде всего поэтическому творчеству Бунина.

В самом начале 1895 г. Иван Алексеевич оставил службу в Полтаве и впервые приехал в Санкт-Петербург, где за две недели познакомился с К. Д. Бальмонтом, критиком Н. К. Михайловским, публицистом С. Н. Кривенко, встретил в книжном магазине Д. В. Григоровича и побывал с визитом у А. М. Жемчужникова, пригласившего молодого провинциала на обед. Далее последовала поездка в первопрестольную и знакомство с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, В. Я. Брюсовым. Странствия продолжились в других городах, довольно быстро Бунин подружился со своим ровесником А. И. Куприным, они, по словам Ивана Алексеевича, «без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем». Далее последовало вхождение в литературный московский кружок «Среда», собиравшемся в доме писателя Н. Д. Телешова... Бунина не оставляла «муза дальних странствий», Телешов называл его за частые поездки непоседой. Иван Алексеевич конечно же продолжал писать, имея репутацию человека общительного, жадно тянущегося к новым впечатлениям, он органично вписывался в свое богемно-артистическое время, но... вместе с тем признавался: «Это начало моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренне самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставить-

ся наедине с самой собой». Внутреннее одиночество тяготило и порядком изводило поэта.

По себе знаю, что наступает в жизни молодого человека, которому, безусловно, есть чем заняться, период, когда он остро ощущает невозможность дальнейшего одиночества. Однако же, кроме прочего, художник еще и остро нуждается в признании. Кому пришлось в своей жизни творить «в стол», тот меня поймет. Нуждался в признании, прежде всего среди своих коллег-профессионалов, и Бунин, очень переживавший невнимание критиков к его ранним произведениям. «Хвалите меня, хвалите!»,— этот призыв частенько повторялся им в письмах тех лет. Не имея литературных агентов, он посылал книги друзьям и знакомым с просьбой обязательно написать отзыв. Литературная критика 90-х годов XIX в., да и читательская аудитория, жаждали иных «откровений» и «вестей» от поэтов, писателей и драматургов. Общество «устало», видите ли, от поступательности и в жизни, и в творчестве, но толком и само не понимало чего, собственно, хотело и к чему, в итоге, это «смутное хотение» приведет, оно было вовсе не против «великих потрясений», а «великая Россия» казалась большинству самой собой разумеющейся незыблемостью, которую и обхаять не грех. Поэтому в центре внимания были «ниспровергатели» и «отрицатели», будто бы «вскрывающие общественные язвы», а на деле, зачастую, одаренные люди, подавленные надуманной «злобе дня» и конъюнктуре, выдававшие желаемое за действительное, точнее, возводящие частность в тенденцию. А ведь подобным грешили и Леонид Андреев со товарищи, и Максим Горький со своей откровенной, выставленной на всеобщее обозрение, псевдонародностью... А вот стихи господина Бунина считались «слишком гладкими» и оттого неактуальными, ибо «кто у нас теперь гладко не пишет?». Эх, господа, вам бы самим попробовать написать хоть строчку подобным образом!

*Вот капля, как шляпка гвоздя,
Упала,— и, сотнями игол
Затоны прудов бороздя,—
Сверкающий ливень запрыгал —
И сад зашумел от дождя.*

В 1897 г. вышла вторая книга Бунина «На край света и другие рассказы», на нее откликнулись, впрочем, вновь «благодушно-снисходительно», уже более двадцати рецензентов, что опять-таки было, по словам К. И. Чуковского «микроскопически малым количеством» по сравнению с отзывами на «творения» любимцев публики. Но еще за год до этого Иван Алексеевич взялся за перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло и справился с этим блестяще, продолжая совершенствовать свой перевод и в дальнейшем. «Русская старина, таинственно-сказочная природа, люди мирных забот и дружелюбия, что окружали будущего поэта в детстве, были сродни древним легендам, красоте девственных лесов, прерий, цельным характерам индейцев — всему тому, что описано в «Гайавате». Бунин в поэме пленило слияние людей с природой, чистота и нежность первой любви, простота человеческих отношений» (2). На мой взгляд, прекрасный, очень профессионально выполненный, перевод гениального творения Лонгфелло очень помог Бунину по-новому оценить свой творческий потенциал, не потерять «внутренний стержень» и продолжать следовать в творчестве «своим курсом».

Очередной же «побег» от личного одиночества — женитьба в 1898 г. на дочери редактора одесского «Южного обозрения» Николая Цакни Ариадне не стала в жизни Ивана Алексеевича знаковой вехой. После двух лет совместной жизни брак распался, единственный ребенок Бунина и Ариадны скончался в 1905 г. от скарлатины... Да и едва ли их связывало сильное чувство, в чем Иван Алексеевич признавался, живя уже

во Франции. Плачевного материального положения Бунина эта женитьба тоже не исправила, несмотря на его вхождение в более обеспеченную греческую семью, «...просить у Цакни не стану, хоть умру», — признавался он в письме старшему брату, обращаясь к последнему именно с просьбой выслать «немедленно хоть десять рублей». И нам остается только порадоваться, что столь бедственное положение не сказалось ни коим образом на творчестве поэта, уже попробовавшего свои силы и на ниве прозы, а если даже и сказалось, то лишь в самом положительном смысле.

В 1901 г. Бунин попросил А. П. Чехова выставить на соискание Пушкинской премии перевод «Песни о Гайавате», ранее уже одобрительно встреченную литературным сообществом, и только что вышедший сборник стихов «Листопад», что Чехов и сделал, заручившись поддержкой А. Ф. Кони в исполнении процедурной стороны вопроса. «Листопад» заслужил одобрение рецензента, известного поэта, графа А. А. Голенищева-Кутузова, в противовес довольно «разгромному» отзыву Пл. Н. Краснова, назвавшего стихи Бунина «крайне однообразными», а самому поэту приписав «неумение увлечь читателя такой темой, как описание природы». Думаю, что критик либо слишком бегло прочел эту книгу, либо виной всему был его полемический задор, мешавший дать справедливую оценку истинным поэтическим находкам Бунина. Чем, скажите на милость, не глянулись ему такие вот строки: «И Осень тихую вдовой // Вступает в пестрый терем свой», «Сентябрь, кружась по чащам бора, // С него местами крышу снял...», «Земля в морозном серебре, // И в горностаевом шугае, Умывши бледное лицо...». И это только в одном большом стихотворении, одноименном сборнику.

18 октября 1903 г. решением премиальной комиссии под председательством профессора А. Н. Веселовского Пушкинская премия была присуждена И. А. Бунину и П. И. Вейнбергу, поэту, переводчику, историку литературы. Денежное вознаграждение лауреаты получили «половинное», по 500 р. каждый. Это способствовало укреплению профессионального статуса и репутации Бунина, как литератора, но «Листопад» продавался из рук вон плохо и издательство «Скорпион», коим, кстати, управляли символисты, вынуждено было снизить цену сборника с рубля до 60 копеек. Общество не нуждалось уже в красоте и чистоте, общество жаждало резких контрастов, волнующих кровь коллизий, ниспровержений идеалов прошлого, дерзких новационных заявлений, его устраивала не тишина, не ровная речь, но «на разрыв аорты» истошный крик, а о чем он, этот крик, было, в сущности, не важно, лишь бы надсаживать глотку, лишь бы проклинать и клеймить... Огульная крамола стала новым знаменем для многих и многих... Куда в итоге они пришли и чего достигли под этим знаменем, мы, живущие сегодня, знаем и обязаны об этом помнить, ибо «дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти» (Э. Юнгер-младший).

«...За последнее время я ужасно чувствую себя «поэтом»... Все — и веселое и грустное — отдается у меня в душе музыкой каких-то неопределенных хороших стихов, чувствую какую-то творческую силу создать что-то настоящее» (2). Это признание двадцатилетнего Бунина — своеобразный, несмотря на самоиронию, манифестационный тезис, его состоятельность и, пожалуй, инвариантность Иван Алексеевич доказывал в течении всей своей жизни. Подобное он мог заявить и в более зрелые годы, и с полным на то основанием. «Стихотворения Бунина менее всего претендуют на то, чтобы поразить читателя экстравагантной метафорой, броским сравнением, замысловатым эпитетом. Изобразительные средства его языка просты, исполнены строгости и ясности. Он не изменяет духу классической поэзии, в первую очередь поэзии Пушкина» (2). Но за кажущейся «простотой» бунинского языка скрывается потрясающее знание темы, огромная любовь к описываемому в стихах и невероятная художественная точность этого описания. Что вы скажете о таких строках: «Не туман белеет в темной роще, // Ходит в темной роще богоматерь...», ведь это не синтетическая эстетика, не кокетливая выдумка, не умозаключение. Так написать можно лишь

сердцем и душой! «Ах, люблю я простор жизни,— восклицал Бунин.— Жизнь люблю — люблю любовь. Как люблю!» (2). И вот еще одно доказательство преемственности и продолжения поэтической традиции старших «классиков»: «Нежное чувство к любимой женщине... у Бунина неотъемлемо от ощущения животворной силы природы, ее исцеляющей красоты» (2).

*Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.*

А природа явлена нам поэтом в цвете, в звуках, в красках. Поэтическая «формула» Фета «природа — любовь — красота» Буниным принята и по-своему интерпретирована. «Одно есть только в мире счастье — // Весь божий свет душой любить!», — простая на первый взгляд фраза, что в ней, казалось бы? Но для поэта «божий свет» очень емкое понятие, это и природа, и люди, и родина, и вера, краеугольный камень которой — краткий тезис о том, что «Бог есть любовь». Но ведь «...И слово было у Бога. И слово было Бог». Вот все и связалось воедино, просто и органично. «Если бы у меня не было рук и ног и я мог только сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно — только видеть и дышать», — так сказал однажды Бунин близкому человеку» (2).

*Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взор я отвожу на миг.*

*День вечереет, небо опустело...
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.*

Огромное значение имела и творческая позиция поэта, не поддавшегося на провокационную критику и не пошедшего у модных веяний на поводу. «Поэзия не в том, совсем не в том, что свет // Поэзией зовет. Она в моем наследстве. // Чем я богаче им, тем больше я поэт» — вот она убежденность в своей связи с прошлым, с традициями русской жизни и культуры, с родной землей, где «...Цветет на стеклах купорос» и «...Погасла за степью слюда», где отец, хороня дочку, сколотил гроб и «...Прикрыл его тесовой крышкой // И на погост отнес под мышкой...», а у любимой женщины «О, взор, счастливый и блестящий, // И холодок покорных уст!». И жизнь, и смерть, и природа, и любовь, и божество, и вдохновение, во всем многообразии красок, оттенков, интонаций, деталей. А слова Гитчи Манито из «Песни о Гайавате» вообще становятся неким воззванием к уже ополоумевшим «бунтарям», желающим «великих потрясений», и не задумывающихся о «великой России».

*Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритесь, о, дети!
Будьте братьями друг другу!*

Не примирились, не услышали, оттого, что ничего подобного и слышать не желали. А следовало бы...

«В те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю,— так писал Иван Бунин о своем путешествии по странам востока, куда он и Вера Николаевна Муромцева отправились весной 1907 г. К этому времени они были знакомы около полугода, а первая их встреча произошла в Москве, на литературном вечере. Вера Николаевна, выпускница Высших женских курсов, описываемая современниками как «очень красивая девушка с огромными, светло-прозрачными, как бы хрустальными глазами», на момент знакомства с Буниным была далека от литературно-богемной среды, занималась химией и знала несколько европейских языков. Отец девушки был членом Московской городской управы, а дядя председателем Первой государственной думы. Официально оформить отношения Бунина и Муромцевой не представлялось возможным, поскольку Аридна Цакни не давала ему развода, и обвенчались они только в 1922 г., в эмиграции, шафером был А. И. Куприн. Но именно Вера Муромцева — это истинная спутница Бунина, его вернейший друг и муза, его Прекрасная Дама, невзирая ни на какие кривотолки и версии многочисленных якобы исследователей, охотников до всего «жареного и соленого».

С 1902 г. Бунин сотрудничает с петербургским товариществом «Знание», взявшись за издание собрания его сочинений, из которых наибольший резонанс вызвал увидевший свет в 1906 г. 3-й том, куда вошли новые стихотворения поэта. Отношения с символистами у Ивана Алексеевича не то чтобы не заладились, просто, по его признанию, он в определенный момент утратил желание играть «с новыми сотоварищами в аргонавтов, демонов и магов». Через три года корпус стихов из 3-го тома и перевод байроновского «Каина» удостоились очередной Пушкинской премии, опять-таки «половинной», вторым лауреатом стал Куприн. Поэзия Бунина, становясь конечно же более зрелой, а порой более сдержанной и строгой, более философской, тем не менее не утратила своих характерных черт: тонкой наблюдательности пейзажиста, любви к родной земле, к людям, ее населяющим, к самой жизни, где все-таки преобладает свет, а не тьма. Автор лишен какого бы то ни было «нарочного сочинительства», «любую сталью вьющейся реки» или восхищаясь: «Так хорошо разутыми ногами // Ступать на черный бархат борозды!». Он порой и вовсе краток, но от этого метафора лишь обретает художественную силу и точность: «В полях, далеко от усадьбы, // Зимует просяной омет», он прекрасно знает отчего «В песке обнаженном отгиснулась лапка лучистая: // Рыбалка сидела на утренней ранней заре», и всегда с ним родной дом, отчие места, родной дом, а признается автор в этом несколько иносказательно: «Сердцем помню только детство: // Все другое — не мое». И даже тени у поэта наделены различным содержанием и свойствами: «Тени от цепей лампадки», «Я стал — и бледным силуэтом // Упала тень моя за мной», а ночь, время откровений с самим собой, вполне одушевлена: «Ночь близится: уж реет в полумраке // Ее немая, скорбная душа». А помните у Фета: «Ночь и я — мы оба дышим...»?

Нет сомнения в том, что поэтический талант Бунина во многом определил и характер его прозы. Рассказы и повести писателя обладают интересным свойством, весьма, на мой взгляд, характерным для произведений классического стиля вообще: в них надо только «вчитаться», ничего с самого начала не упуская и не пропуская, а далее — не оторвешься, и не захочешь выходить из волшебного этого пространства, желая длить и длить нахлынувшее очарование. А ведь Бунин уже в стихах столь же очарователен.

*Глеб отворил мне двери на балкон,
Поговорил со мною в позе чинной,
Принес мне самовар — и по гостинной
Пролился нежный и печальный стон.*

Однако же содержание бунинских стихотворений отнюдь не подчинено и не посвящено голому эстетизму и вообще стремлению к «красивости». Средства формирования художественного образа в тех же элементах пейзажной лирики всегда служат ему не столько для усиления впечатления и восприятия, сколько для обозначения глубины темы, для призыва по-настоящему, крепко задуматься о происходящем вокруг, об истинных человеческих ценностях и об угрозах этим ценностям, которые зачастую сам человек и склонен создавать. Поэтика Бунина служит высоким целям, она служит самой жизни, полной коллизий и контрастов, но той жизни, от которой поэт прежде всего ждет радости и созидания. И верит именно в такую жизнь.

*Я жду веселых звуков топора,
Жду разрушенья дерзостной работы,
Могучих рук и смелых голосов!
Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,
Вновь расцвела из праха на могиле...*

И ожидание всеобъемлющей весны сочетается с контрастным признанием: «Печален долгий вечер в октябре! // Люблю я осень позднюю в России!» — и далее, в самом финале: «Я изнемог, и мертвый стук часов // В молчании осенней долгой ночи // Мне самому внимать нет больше мочи». Очень по-человечески сказано, не правда ли? Жизненно и естественно.

Менее чем через две недели после присуждения второй Пушкинской премии, из Академии наук поступило известие об избрании Бунина почетным академиком по разряду изящной словесности. Оказалось, что еще весной 1909 г. писатель и общественный деятель К. К. Арсеньев (также почетный академик с 1990 г.) направил в Академию соответствующее представление, указав в характеристике, что произведения Бунина отличаются простотой, задушевностью, художественностью формы. Можно сказать, что о профессиональном признании можно было более не беспокоиться. Два десятка лет литературного труда Ивана Алексеевича получили в конце концов достойную и заслуженную оценку. К слову сказать, на протяжении всей жизни успехи Бунина на литературном поприще не приносили ему мало-мальски прочного материального обеспечения. Чаще случалось совсем наоборот. «...Беден так, что не смею и думать об этом...»,—признавался Бунин в письме к другу. Пусть и такое случалось далеко не всегда, но финансовое положение поэта и прозаика всегда оставалось шатким.

В 1910-х годах Бунин с супругой много путешествовали, результатом впечатлений от поездок стали некоторые рассказы писателя (в частности, «Братья»), вообще в этот период его прозаические произведения вызвали много откликов и пользовались популярностью, широкую известность получили рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Грамматика любви», «Легкое дыхание», за шесть лет вышли три книги Бунина, в том числе и четырехтомное собрание сочинений, выпущенное издательством А. Ф. Маркса в 1915 г. А что же поэзия? Она по-прежнему оставалась душевным пристрастием Ивана Алексеевича, являясь его жизненной необходимостью. А его стихотворение «Слово» явно перекликается с ахматовским «Мужеством», хоть и разделяют произведения двадцать шесть лет.

*И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь!*

С началом Великой войны (именно так, а отнюдь не «Первой мировой», называли в Российской империи войну 1914—1918 г.г.) настроение Бунина существенно и неуклонно меняется, в дневниковых записях тех лет он жалуется на пасмурное настроение, душевное разочарование, слабость, литературное бесплодие... Тем не менее творческая работа не прекращается, во всяком случае на поэтической ниве. Правда, интонация многих стихотворений тех лет лишена былого оптимизма, в них явно сквозит разочарование с оттенками подступающего порой отчаяния.

*И темным-темно в той новой чаще,
Где опять скрывается дорога,
И враждебен мой ямицик молчащий,
И надежда в сердце лишь на бога,
Да на бег коней нетерпеливый,
Да на этот нежный и певучий
Колокольчик, плачущий счастливо,
Что на свете все авось, да случай.*

Сложно сказать, насколько ясно автор предчувствует приближение чего-то трагического и непоправимого, но тревога его не оставляет, и, как показали последующие, вскоре произошедшие события, не оставляет абсолютно не зря. И вовсе не случайно в стихотворении «Семнадцатый год» прозвучавшее восклицание: «Пожар? Но где? Опять у нас...» обретает уже глобальный трагический смысл. Ибо наступали в жизни России те самые «окаянные дни», названные изначально некоторыми наивными романтиками «очарованием революции», — только кровавым, как выяснилось очень скоро, очарованием. И Бунин, не в пример многим талантливым и даже гениальным своим коллегам, ощутил и понял это сразу, если не вообще заранее.

Но что характерно: в час величайшей в истории русской смуты, отражением которой стали прежде всего дневники писателя, а именно «Окаянные дни», как позднее и другие его произведения в прозе, именно стихи Бунина остались оплотом любви, надежды и веры, храня светлые образы родной земли, неповторимой красоты ее, духовного богатства и величайшего терпения. Да, поэзия его стала сдержанной, лирика — более философской, раздумчивой, но своей своеобычности не утратила, напротив, обрела новую глубину и даже окрасилась зрелой, осознанной грустью.

*Этой краткой жизни вечным измененьем
Буду неустанно утешаться я,—
Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,
В свежем парке листьев медленным паденьем
И тобой, знакомая, старая скамья.*

Хочу повторить, что разговор о бунинской прозе выходит за рамки этой статьи. Это совсем иная галактика, впрочем, весьма обжитая литературоведами. Думается, что Иван Алексеевич намеренно сохранил свои стихи в чистоте, оставив всю трагедию и боль прозе. И оттого беспощадные реалии того времени лишь изредка по-настоящему прорываются в пространство стиха. Но уже и время, и сама жизнь сменили направление, началась эмиграция, навсегда бездонно несчастная и обреченная на постоянное страдание человека, лишенного Родины; горькие странствия — Кон-

стантинополь... и далее... Париж... Грасс... Сухие, ломкие, безразличные слова... И обреченное озарение: «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да — так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине!»

*У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!*

*У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!*

Отныне в стихах Бунина будет властвовать философский дуализм с нежным, изящным, лирическим началом, ведущим к страшным, по сути, итоговым строфам. Иван Алексеевич прекрасно понимал, что никакая «Миссия русской эмиграции», никакие рассказы-повести-романы, пусть и гениальные, никакая пресловутая Нобелевская премия никогда не помогут сделать так, чтобы «...узкоколейка шла из Парижа в Елеу», о чем, в свою очередь, мечтал еще один русский поэт-эмигрант Дон Аминадо (Шполянский). И что неизбежно будет так, как напишет позднее М. И. Цветаева:

*Никуда не уехали — ты да я —
Обернулись прорехами — все моря!
Совладельцам пятерки рваной —
Океаны не по карману!
Нищеты вековечная сухомять!
Снова лето, как корку, всухую мять!
Обернулось нам море — мелью:
Наше лето — другие съели!*

Вот он, этот путь русского эмигранта первой волны, от Константинополя, по городам и весям, и в конце концов до Сен-Женевьев де Буа, на деле куда более протяженный, чем если бы обозначить оный на карте...

*Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.*

Стихотворение «Ночь» написано в 1952 году. Этим все сказано, ибо через год земное путешествие выдающегося художника русского слова завершился. Но жизнь не закончилась. Потому что для русского слова, русской речи, смерти не существует. Но, смею утверждать, что и сами люди смертны по-разному. И жизнью своей, и смертью, и творчеством наивысшего полета неповторимый русский поэт и прозаик Иван Бунин доказал самое главное для нас, его соотечественников, что *все дороги, куда ни держишь путь, в итоге ведут в Россию*. Абсолютно то же самое, на свой, конечно, лад, мастерски продемонстрировал в веке XIX-м еще один уникальный русский литератор, уроженец Гессен-Дармштадта — Афанасий Фет (Шеншин). И если последний, несомненно, поэт-новатор, обогативший изящную словесность новой, оригинальной поэтикой и обозначивший жизненную взаимосвязь природы и человека посредством красоты и любви, то заслуга поэта Ивана Бунина в том, что он сумел, во многом наследуя в том числе и Фету, наполнить академизм классического стиля новым содержанием и свежими, неповторимыми красками и акцентами, сохранив чистоту русской поэтической школы среди бурь Серебряного века.

*Синий ворон от падали
Алый клюв поднимал и глядел.
А другие косились и прядали,
А кустарник шумел, шелестел.*

*Синий ворон пьет глазки до донушка,
Собирает по косточкам дань.
Сторона ли моя ты, сторонушка,
Вековая моя глухомань!*

Вечная слава и память русским поэтам!

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) — По материалам статьи Л. А. Озерова «То, что вечно,— человечно», Фет А. А. Улыбка красоты: Избранная лирика и проза / Сост., вступит. статья Л. А. Озерова.— М.: Школа-Пресс, 1995.— 736 с. (Серия «Круг чтения: Школьная программа»).

(2) — По материалам: Бунин И. А. Стихотворения / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. С. П. Кошечкин; Ил. А. Зайцева.— М.: Мол гвардия, 1990.— 222(2) с., ил.— (XX век: поэт и время).

**Владимир Трусов,
г. Мончегорск, Мурманская область**

